Театр-студия у Никитских ворот под руководством Марка Розовского представляет спектакль по произведениям Ю. Даниэля „Говорит Москва или День открытых убийств" премьера 4 февр. 1991 г (см. спектакль)

Синявского и Даниэля именем писателей, замученных, убитых, расстреляных, погибших от голода и холода в сталинских лагерях уничтожения.

Это - Пильняк, Гумилев, Мандельштам, Бабель, Воронский, Табидзе, Яшвили - сотни фамилий включены в этот грозный мартиролог. Эти мертвецы, эти жертвы времени, которые могли бы составить славу любой страны, поднимают голос в защиту Синявского и Даниэля! (...)

Советское общество приговором по делу Синявского и Даниэля повергается снова в обстановку террора, преследований.

Советское правительство сделало очень мало для сближения Востока и Запада. Такого рода акции, как процесс Синявского и Даниэля, могут только разрушить эту связь...

** В «Белой книге Синявского и Даниэля» данный текст фигурирует как анонимный; на «процессе четырех» (А.Гинзбург, Ю.Галансков, А.Добровольский, В.Лашкова), по приговору суда, был признан антисоветским; впервые в СССР опубликован в журнале «Огонек» (1989, N19).*

... Судебный процесс, а потом лагерь не сломили ни Синявского, ни Даниэля. Отбыв полностью свой срок, Даниэль начал работать в Калуге, потом в Москве. Писал. Переводил. В печати появлялись переводы Ю.Петрова - теперь Даниэлю псевдоним был спущен свыше. Печатали почти анонимно: чтобы не вспомнили, чтобы сама память истерлась о забвение...

Судьба Синявского сложилась иначе. После выхода Даниэля из лагеря ему скостили срок. Помыкавшись, поняв, что перед ним стена тупого противодействия, он выбрал эмиграцию. Его не выдворяли, не выталкивали, ему не предлагали уехать: его просто не печатали...

Галина Белая

ИЗ СТЕНОГРАММЫ БЕСЕДЫ С ЖУРНАЛИСТОМ ЮРИЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ФЕОФАНОВЫМ В РЕДАКЦИИ «ИЗВЕСТИЙ» 20 ОКТЯБРЯ 1988 ГОДА

- Моя личная позиция сегодня? Морально я бы статьи Синявского и повесть Даниэля все же осудил, но ,конечно, так, как раньше, не написал бы, и, конечно, я считаю, что для возбуждения уголовного дела оснований никаких не было.

Приговор не я должен отменять, а соответствующие судебные инстанции. Если бы отменили приговор и мне бы предложили, ну, грубо говоря, покайся, оцени себя прежнего и напиши, то я бы это сделал. Сказал бы, уголовное дело возбуждать не было оснований, но морально я и сейчас осудил бы статьи Синявского.

Наверное, не надо бы Синявского и Даниэля сажать, то есть не наверное, а точно - не надо.

*****При подготовке материалов о процессе А.Синявского и Ю.Даниэля были использованы издания: Сахаров А. \\ Мир, прогресс, права человека: Статьи и выступления. Л.: Сов. писатель. 1990; Белая книга Синявского и Даниэля / Сост. Гинзбург А. Посев, 1967 ; Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля / Сост. Великанова Е.М. М: Книга, 1989, а также публикации журнала «Огонек»**

ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ

ПОРТРЕТ

Если тебя вызывают на вахту, - это значит жди неприятностей. Либо в карцер отведут, либо еще какая-нибудь пакость. Исключение может быть только одно: через вахту идешь на свидание. Но об этом всегда известно заранее. Меня вызвали на вахту неожиданно. Я отправился туда без всякого энтузиазма, и, разумеется, мои дурные предчувствия оправдались. Правда, в карцер меня на этот раз не посадили и даже не «лишили ларьком». «Лишить ларьком» или «лишить свиданьем» - это начальственные формулы, возникшие в результате склонности к лаконизму, это 50% экономии для выражения «Лишить права пользования ларьком» или «...свиданием». Начальству, вконец измученному стремлением к идеалу, приходилось довольно часто прибегать к спасительной скороговорке, и оно, естественно, старалось сберечь секунды.

Так вот, меня ожидало нечто необычайное. Войдя, я увидел несколько надзирателей и во главе их - «Режима». Мы ведь тоже были склонны к краткости, правда, по другим соображениям: когда приближалась опасность, проще и выгоднее было шепнуть: «Режим!», чем произносить «Заместитель начальника лагеря по режиму». «Режим», он же капитан Кулагин, обладал внешностью и повадками эсэсовского офицера из плохих послевоенных фильмов. Я часто думал, почему он и многие другие лагерные офицеры были точными сколками с этих киногероев. Потом догадался: ведь наши обаятельные контрразведчики со студии им.М.Горького никогда не выступали в роли тюремщиков! А Кулагину, Кишке, Рыбчинскому непременно нужен образец - «делать жизнь с кого»; вот им и пришлось брать манеры из сходных ситуаций. Конечно, они вряд ли осознавали это, все происходило само собой, инстинктивно.

Кроме «Режима», надзирателей и меня, в комнате был еще некто, и я сразу уставился на него.

- Это Ваш портрет? - спросил офицер.

Да, это был мой портрет, не очень умелый, но очень похожий. Небольшое полотно, примерно 60х40, в коричневых, серых, зеленых тонах. Его написал мой приятель, лагерный художник, самоучка. Он был страстно влюблен в живопись и за многие годы неволи прошел путь от копирования цветных открыток до вполне приличных портретов. И то сказать: в лагере все время были и профессиональные художники, и искусствоведы, и просто знатоки и любители живописи - ему было с кем общаться и у кого набираться ума-разума. Он был официальным лагерным художником, т.е. писал плакаты, лозунги, делал транспаранты. Работа малопочетная, но лагерная «общественность» относилась к этому снисходительно: все понимали, что у живописца нет другой возможности дорваться до красок, кистей, холста...

А писать красками «вольную» тематику было запрещено, а «лагерную» вообще ничем не разрешалось. Но портреты занимали какое-то промежуточное положение: карандашом можно, красками - нельзя.

И вот перед нами стоял портрет, писаный красками, натянутый на подрамник, портрет, спрятанный в каптерке среди старых вещей и все-таки найденный надзирателями во время очередного обыска. А может быть, кто-то стукнул.

- Это Ваш портрет?- спросил офицер.

- Изображен на нем я, - ответил я дипломатично.

- Имущество Ваше?

- Нет.

- А чье?

- Это вам лучше знать - у кого отобрали.

Офицер задумался. Мысль, что портрет может быть собственностью не того, кто на нем изображен, доходила до него с трудом.

- Но нарисованы на нем Вы?

- Я.

- Ну, значит, это Ваш портрет. Дай нож, - сказал он надзирателю.

Тот протянул ему складной нож. Капитан раскрыл его и протянул мне.- Вы и уничтожьте его.

- Я не фашист - резать картины, - ответил я. Конечно, я покривил душой: фашисты, насколько я знаю, предпочитали присваивать картины, а не уничтожать. Но мне очень хотелось оскорбить его. Пустые хлопоты: он и бровью не повел. За годы службы он и не то слыхал. А теперь я и не уверен, что сравнение с фашистом вообще могло его оскорбить. То есть формально он, советский офицер, наверняка член партии, должен был возмутиться, но по существу...

- Ладно, режь ты, - он вернул нож надзирателю. Тот, не торопясь, резанул по холсту. Я невольно сделал движение к нему, дернулся, как от боли. В то же мгновение меня схватили с двух сторон.

- Спокойно, - сказал Кулагин.

Я уже стоял спокойно и смотрел, как режут мое лицо. Это было очень странное ощущение. Надзиратель вырезал равнобедренный треугольник - часть носа и рот, но не дорезал до конца, и треугольник повис на волокнах, перевернувшись основанием кверху; хорошо знакомые мне губы поменялись местами.

Он продолжал полосовать - почему-то нижнюю часть портрета: челюсти, шею, воротник, шарф. Иногда он даже останавливался, примериваясь, как будто имел дело не с куском раскрашенного холста, а с живым человеком. Дольше всего оставались глаза, и мы смотрели друг на друга пристально. Наконец, палач провел твердую горизонталь и ослепил меня.

- Подпишите акт об уничтожении, - сказал капитан.

- Ничего я подписывать не буду.

- Обойдемся. Ты подпиши и ты.

Надзиратели подписалась.

- Можете идти. Если еще раз будет такое - накажем.

Я ушел.

«Такое» было еще раз. До сих пор я не знаю, как, какими путями, холст, свернутый в трубку, прошел все обыски, все осмотры, как он, миновав руки и ножи надзирателей, выбрался за колючую проволоку. Это сделали мои друзья, и сейчас портрет сумрачно и настойчиво смотрит на меня со стены моего жилища:

« Помни о моем старшем брате, погибшем в 1966 году в мордовских лагерях».

МОРДОВИЯ, ЯВАС ПРИГОВОР

Да не посмеешь думать о своем,
Вздыхать о доме и гнушаться пищей:
Ты - объектив, ты - лист бумаги писчей,
Ты брошен сетью в этот водоем.
Чужие скорби грусть твоя вберет,
Умножит годы лагерная старость,
И лягут грузом на твою усталость
Чужие сроки северных широт.
Пускай твоя саднящая мозоль
Напоминает о чужих увечьях.
Ты захлебнулся в судьбах человечьих -
Твоей судьбой теперь да будет боль.
Да будешь ты вседневно грань стирать
Меж легким «я» и многотонным «все мы»
И за других, чьи смерти были немы,
Да будешь ты вседневно умирать.
Да будет солона твоя вода,
И горек хлеб, и сны не станут сниться,
Пока вокруг ты видишь эти лица
И в черных робах мается беда.
.....
Я приговору отвечаю:
- ДА.